



УДК 821.161.1

А. В. Крысанова, С. А. Шевченко

«ГУЛ ЯЗЫКА»: ПОЭТИКА РАСКОДИРОВАНИЯ АУДИАЛЬНОГО
В ЛИРИКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ И И. БРОДСКОГО

Рассматриваются проблемы рефлексии языка и слова в творчестве двух поэтов. Исследуются механизмы словесного творчества. Предпринимается попытка интерпретации комплекса тем и мотивов М. Цветаевой и И. Бродского в свете бартианского концепта «гул языка».

This article considers the problems of language and word reflection in the works of the two poets and examines the mechanisms of written works. The authors attempt to interpret the complex of M. Tsvetaeva and I. Brodsky's themes and motifs in the context of Barthes's "rustle of language" concept.

Ключевые слова: М. Цветаева, И. Бродский, Р. Барт, «гул языка», пространство.

Key words: M. Tsvetaeva, I. Brodsky, R. Barthes, "rustle of language", space.

Уникальное восприятие аудиального свойственно многим поэтам. Вживленность художника в звуковой поток окружающего мира и обостренность «слуха» формируют особые отношения между поэтом и языком и выступают конституирующими элементами авторского художественного мира.

И. Бродский и М. Цветаева являют собой ярчайшие примеры восприятия мира посредством особых звуковых «фильтров», что определяет самобытность их слуховых поэтик и позволяет выделить их миры из множества других авторских миров, характеризующихся слуховой константой. Рассмотрение слухового восприятия этих двух поэтов в рамках единого дискурса обусловлено, во-первых, преемственностью, обозначенной самим Бродским, который писал: «Благодаря Цветаевой изменилось не только мое представление о поэзии — изменился весь мой взгляд на мир... Мне очень близка ее поэтика, ее стихотворная техника» [3, с. 95], и, во-вторых, общностью поэтических взаимоотношений с языком, демонстрирующих определенную традицию.

Бродский с предельной точностью формулирует свое ощущение процесса поэтического творчества: «...поначалу возникает некий такой гул, что ли, ритмический¹... И когда вы пишете стихи, вы стараетесь на бумаге — семантически, в смысловом отношении — к этому шуму или к этой ноте приблизиться» [3, с. 378]. Подобные размышления характерны и для Цветаевой: «Слово-творчество, как всякое [творчество], только хождение... по слуху» [1, т. 5, с. 363], «Слышу не слова, а какой-то беззвучный напев внутри головы, какую-то слуховую линию...» [1, т. 5, с. 370]. Обращают на себя внимание номинации, избранные поэтами для обозначения звукового потока: *гул, шум, нота, беззвучный напев, слуховая линия*. Объединяющим для них становится фактор обеззвученности. Заметим, однако, что при потере звука источник этого звука

¹ Выделения в цитатах везде наши. — А. К., С. Ш.



продолжает существовать в видеоизмененном парадоксальном качестве — *звучащей тишины*. Е. Фарино отмечает, что «убывание “тишины” невозможно — тут возможно лишь сокращение беззвучных интервалов между упоминаемыми звуками и переход от разрозненных и дискретных звуков к недискретному и неразрозненному звуковому потоку» [4, с. 313]. Именно такой звуковой поток имеют в виду Бродский и Цветаева, говоря о феномене сквозного слышания.

Языковой феномен, отраженный двумя поэтами, но не вышедший у них за рамки поэтических штудий, получает системное описание в работе Р. Барта «Гул языка». Французский теоретик противопоставляет «гул языка», т.е. «шум исправной работы» [5, с. 290], так называемому «заиканию», сбю, прерывающему гул. При сохранении шумовой природы, гул «знаменует собой почти полное отсутствие шума, шум идеально совершенной и оттого вовсе бесшумной машины; такой шум позволяет расслышать само исчезновение шума» [5, с. 290].

«Шум исправной работы» (или звучащая тишина) рождается из определенного звукового потока, в котором поэт пытается, во-первых, уйти от многоголосия земного мира, лишаящего его истинного слуха, и, во-вторых, расслышать «где-то вдали звучание смысла, раз и навсегда освобожденного от всех видов насилия, которые исходят... от знака...» [5, с. 291].

В стихотворении Цветаевой «Куст» символом идеального существования языка становится образ куста, поскольку его ветви, раскачиваемые ветром, производят тот самый гул, который поглощает все остальные шумы земного мира, сосредотачивая слух поэта на звуковом потоке, суть которого — звучащая тишина: «Что нужно кусту от меня? <...> Сей *мощи*, и *плещи*, и *гуци* — // Что нужно кусту — от меня? // Имущему — от неимущей! // А нужно! иначе б не шел // Мне в очи, и в мысли, и в уши»; «А мне от куста — *тишины*: // Той, — *между молчаньем и речью*» [1, т. 2, с. 317–318]. Куст характеризуется лексемами *мошь*, *гуць* и *плещь*. Густота и мощность куста при дуновении ветра образуют шелест листьев, который символизирует земной источник гула. Особая природа гула, апеллирующая к истинному слуху поэта, подразумевает функционирование языка по иным законам, которые подчинены укрепощающим тенденциям, а именно преодолению «заикания» и формированию «недискретного и неразрозненного звукового потока». Шум, производимый кустом, на фоне шума земного мира является собой источник звучащей тишины, которая представляет собой форму реализации гула языка в условиях его земного функционирования.

В стихотворении Бродского «Вертумн», которое задумывалось поэтотом как новая «Божественная комедия», рассказывается о путешествии поэта в потусторонний мир, где находится источник идеального существования языка. Для этого пространства характерна «идеальная акустика», способность к абсолютному слышанию смысла в недискретном звуковом потоке: «Дело, наверно, было // в *идеальной акустике*, связанной с архитектурой... в склонности вообще // *абсолютного слуха к нечленораздельным звукам*» [2, т. 4, с. 84]. Лирический герой Бродского отправляется в те области существования языка, в которых он пытается найти понятную для человеческого восприятия оболочку слов. Вслушиваясь в шелест листьев, он пытается в производимом гуле найти адекватную для материального мира форму слова: «...и ты порой, заме-



рев, // вслушивался с напряжением в шелест парка, // переворачивая изредка клейкий лист // в поисках точного слова, точного выраженья» [2, т. 4, с. 83].

По словам Барта, гул преобразует язык, в результате чего последний «изменяет своей природе» [5, с. 290], происходит его «превращение в беспредельную звуковую ткань, где теряет реальность его семантический механизм» [там же]. Это означает, что язык утрачивает свои обычные характеристики. Оpoznать в «беспредельной звуковой» ткани язык можно лишь условно, поскольку этот процесс сопровождается раскрепощением означающего — потерей не только экстенционала знака, но и интенционала.

Поскольку гул языка находится в непосредственной связи с источником звука и открывает для поэта возможность слышать особую, звучащую тишину, можно говорить о том, что локус их возникновения един.

Тишина, а следовательно, и гул принадлежат пространству, которое находится за ртом, за губами: «Да вот и сейчас, словарю // Придавши бесмертную силу, — // Да разве я то говорю, // Что знала, пока не раскрыла // Рта, знала еще на черте // Губ, той — за которой осколки... // И снова, во всей полноте, // Знать буду, как только умолкну» [1, т. 2, с. 318]. У Бродского тишина и гул вынесены за пределы телесности и вещественности и отнесены в пространство, недостижимое человеком: «Звук уступает свету не в // скорости, но в вещах, // внятных даже окаменев, // обветшав, обнищав. // Оба преломлены, искажены, // сокращены: сперва — // до потемок, до тишины; // превращены в слова // <...> Оба счастливы только вне // тела. Вдали от нас» [2, т. 3, с. 176]. Идеальное состояние языка реализуется в тишине, т. е. в *невоплощенности, в отсутствии означающего*: «А мне от куста — тишины: // Той, — между молчаньем и речью» [1, т. 2, с. 318] или: «Взятый вне мяса, звук // не изнашивается в результате тренья // о разреженный воздух» [2, т. 3, с. 252]. Феномен звучащей тишины, или гула, сосредоточен в его особой природе: это уже не полное молчанье, но еще не речь; это языковое образование на стыке двух явлений, в некоей лакуне перехода одного явления в другое. «Той [тишины] — можешь — ничем, можешь — всем // Назвать: глубока, неизбежна. <...> Той — до всего, после всего. // Гул множеств, идущих на форум. // Ну — шума ушного того, // Все соединилось в котором» [1, т. 2, с. 318]. Подобное наблюдаем и у Бродского: «...так молчанье в себя вбирает всю скорость звука...» [2, т. 3, с. 188].

Недискретность гула, интегрированность в нем звучащего мира и отсутствие привычных форм языкового воплощения, квалифицирует его как пограничное явление.

В стихотворении Цветаевой «Заочность» зафиксирован не только процесс возникновения гула и раскрепощения означающего, но и процесс проникновения поэта в область тишины. Образ *кастальского тока*, с которого начинается стихотворение, репрезентирует тему взаимоотношений поэта и источника вдохновения, который осмысливается Цветаевой как языковой феномен, что и открывает тему гула языка: «Кастальскому току, // Взаимность, заторов не ставь! // Заочность: за оком // Лежащая, вящая явь. // Заустно, заглазно // Как некое долгое *lá* // Меж ртом и соблазном // Версту расстояния для...» [1, т. 2, с. 216]. Заочность, находящаяся за оком, за устами — это пространство гула языка и раскрепощенного означающего. «Некое долгое *lá*», тянущееся



между ртом (границей воплощенности) и соблазном (в данном случае соблазном сказать, ощутить *á* как слово или его компонент), и представляет собой звучащий поток, в длительном монотонном звучании которого рождается гул языка, дающий возможность поэту уловить переход языка в его промежуточную, рубежную форму существования. В потоке длящегося *á* открывается перспектива в глубину едва уловимого смысла, сформировавшегося в результате раскрепощения означающего. Длящееся *á* не принадлежит к звуко-буквенным образованиям: когда оно длится, то теряет свою природу, превращается в гул, приближаясь к исходному смыслу.

Реализация рубежной формы существования языка в лирике Бродского происходит посредством образа кричащего поэта-птицы и его голоса. Вопль, крик и голос расцениваются поэтом как проводники в идеальные области языка: «Крики дублинских чаек! Конец грамматики, // примечание звука к попыткам справиться // с воздухом... раздирали клювами слух, как занавес, // требуя опустить длинноты, // буквы вообще, и начать монолог свой заново // с чистой бесчеловечной ноты» [2, т. 4, с. 97].

Поэт сталкивается с необходимостью перевода с идеального языка на земной, человеческий.

По словам М. Л. Гаспарова, в «звуковом и морфологическом составе слова» «поэт силится уловить тот глубинный смысл, который, наконец, даст ему возможность высказать не поддающееся высказыванию» [6, с. 146]. Рассмотрение феномена гула языка на образном уровне позволяет утверждать, что, согласно представлениям Цветаевой и Бродского, именно язык властвует над поэтом, а не поэт над языком. Поэт ищет путь раскодирования шумового потока, чтобы воплотить в словесной форме то, что он слышал в идеальных областях.

Список литературы

1. *Цветаева М.* Собр. соч.: в 7 т. М., 1994.
2. *Бродский И.* Сочинения Иосифа Бродского: в 7 т. СПб., 2001.
3. *Бродский И.* Книга интервью. М., 2007.
4. *Фарино Е.* Введение в литературоведение. СПб., 2004.
5. *Барт Р.* Гул языка // Барт Р. Избр. работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989.
6. *Гаспаров М.Л.* Марина Цветаева. От поэтики быта к поэтике слова // Гаспаров М.Л. О русской поэзии: анализы, интерпретации, характеристики. СПб., 2001.

Об авторах

Анастасия Владимировна Крысанова — асп., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, e-mail: kryvla@mail.ru

Сергей Александрович Шевченко — студ., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, e-mail: gorlum88@mail.ru

About author

Anastasiya V. Krysanova, PhD student, Immanuel Kant Baltic Federal University, e-mail: kryvla@mail.ru

Sergey A. Shevchenko, Student, Immanuel Kant Baltic Federal University, e-mail: gorlum88@mail.ru